



С. В. Савинков

ГЕРОЙ И ЕГО РОДОСЛОВНАЯ: ОТ ПЕЧОРИНА И БАШМАЧКИНА К РАСКОЛЬНИКОВУ

С конца 1830-х годов в русской литературе складывается ситуация параллельного сосуществования персонажей, наделенных принципиально разнополярной структурой — готовой и неготовой. Тип неготового персонажа парадигматизируется лермонтовским Печориным, а готового — гоголевским Башмачкиным. Неготовый — это, как отмечалось в критике, — тот, кто «...с развитой мыслью, но с неопределенной волей и ничтожным характером, с громкими задачами для жизни и... с бессилием к исполнению самой малой доли житейских обязанностей», а готовый — тот, кто, подобно Акакию Акакиевичу, «так и родился на свет уже совершенно готовым, в вишмундире и с лысиной на голове».

Элементы «печоринского» фрейма так или иначе наличествуют у всего того последовавшего за «героем нашего времени» персонажного ряда, который традиционно именуется галереей лишних людей. Однако этот персонажный ряд имеет и иное типологическое родство: и Печорин, и его литературные преемники суть те, кто, обладая большими задатками Героя, как герои не состоялись именно в силу отсутствия у них внутренней цельности, в каждом отдельном случае, конечно, различно обусловленной.

Так, печоринская нецельность — на языке близкой лермонтовской эпохе философии — есть следствие чрезмерного развития сознания, приведшего к уродливой асимметрии между субъективным и объективным, идеальным и реальным, мыслительным и деятельным началами. Подмена действия рефлексивным самосозерцанием являет для Лермонтова характерную черту «нашего времени», по-женски изнеженного и по-старчески немощного. (Ср., как в «Вадиме» нынешний негероический век противопоставляется героическому былому: «...теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много...».)

«Герой нашего времени», наделенный всеми задатками Героя, оказался не в своем,

героическом, а в «нашем» времени, и это обстоятельство стало главной причиной его внутренней раздвоенности: один человек в Печорине живет полной — деятельной, героической — жизнью; другой занят наблюдением за поведением первого, мыслит и судит его. Как Герой, Печорин не может не действовать; как человек, лишившийся цельности, Печорин не может действовать, как Герой.

По этой модели будут выстраиваться и другие несостоявшиеся Герои. Так и не сможет при «огромном чувстве самобытности» отыскать себя в мире Бельтов. Не сможет и Илья Ильич Обломов, наделенный богатырскими задатками, на тридцать третьем году жизни подняться с дивана (как его былинный тезка — с печи) в условиях меркантильного Петербурга. По-своему вписываются в заданную лермонтовским героем парадигму и тургеневские персонажи, в частности Базаров. В Базарове, как и в Печорине, тоже противостоят два человека или, лучше сказать, два противоположных начала: стихийно-природное, дионисийское конфликтует в нем со «слишком человеческим». Благодаря тому, что его связывает со всеобщим, Базаров ощущает в себе силы дикие и необъятные, благодаря своей единичности и отдельности он, как сказано Тургеневым в «Поездке в Полесье» о человеке вообще, «чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность».

Итак, общая черта героев печоринского ряда — внутренняя нецельность, неравенство самим себе или, как бы сказал Герцен, «неконсеквентность» собственным началам. Эта «неконсеквентность» и лишает их» главного для Героя свойства — быть деятелем.

Однако у этой нецельности есть и оборотная сторона. По существу, нецельность оказывается тем, что противостоит героическому как такой сверхличной инстанции, которая не имеет человеческого измерения. Лишним людям не суждено стать Героями, но именно это «не суждено» и раскрывает их с человеческой стороны.

С «человеческой стороной» связано еще одно важное — жанровое — обстоятельство. Рожденные быть героями не смогли ими состояться не только потому, что оказались не в своем времени и не в своем пространстве, но и потому, что оказались не в своем жанре.

* * *

Герой принадлежит эпическому миру. Мир эпопеи — место обитания героя — характеризуется М. М. Бахтиным как мир недосягаемого героического прошлого: «начал» и «вершин» национальной истории, отцов и родоначальников, «первых» и «лучших». В этом мире все пребывает в равной самой себе успокоенности: здесь уже все произошло, и поэтому ничего не может произойти. Такой, условно говоря, героический Герой пребывает в полном соответствии со своим миром: «Он завершен на высоком героическом уровне, но он завершен и безнадежно готов, он весь здесь, от начала до конца, он совпадает с самим собой, абсолютно равен себе самому». Будучи сплошь завершенным и законченным, он «весь сплошь овнешнен». На языке Бахтина это означает, что «между его подлинной сущностью и его внешним явлением нет ни малейшего расхождения. Все его потенции, все его возможности до конца реализованы во внешнем социальном положении, во всей его судьбе, даже в его наружности... Он стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем он стал».

Пребывая не в эпическом, а в романном мире, герой уже не способен иметь тот «готовый» вид, который он имел тогда, когда между его внешним и внутренним не было ни малейшего зазора. Находясь в открытом, неуспокоенном мире настоящего, он не способен обладать былой наивностью (а если способен, то это — вариант князя Мышкина): в мире, подверженном раздору, героя печоринского типа не может не разъесть напрочь противоположенная наивному взгляду рефлексия.

Эпический Герой не может не знать, кто он, откуда он и зачем он. Для героя, не ставшего Героем, это незнание становится главной точкой приложения его рефлексивных усилий.

Печорин: «...Спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенье высокое... но я не угадал этого назначения...».

Бельтов: «По слабости ли сил, по недостатку ли характера, но дело в том, что я — бесполезный человек, и, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнью...».

Обломов: «Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится».

Базаров: «Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен?».

И вот рядом с таким, по слову Герцена, «неконсеквентным» себе героем ведет параллельное существование персонаж другой, подобно эпическому Герою, абсолютно себе тождественный, готовый, но — не Герой.

* * *

Вслед за Бахтиным стало общим местом говорить о совершенном Достоевским коперниковском перевороте: «Уже в первый, „гоголевский период“ своего творчества Достоевский изображает не „бедного чиновника“, но самосознание бедного чиновника (Девушкин, Голядкин, даже Прохарчин). То, что было дано в кругозоре Гоголя как совокупность объективных черт, слагающихся в твердый социально-характерологический облик героя, вводится Достоевским в кругозор самого героя и здесь становится предметом его мучительного самосознания; даже самую наружность „бедного чиновника“, которую изображал Гоголь, Достоевский заставляет самого героя созерцать в зеркале».

По всей видимости, однако, коперниковский переворот заключается не только в том, что Достоевский изображает самосознание маленького, бедного человека, а в том, что он изображает сознание, которым наделяется тот, кто по определению не должен и не может его иметь — персонаж готовый. Иными словами, рефлексия вменяется тому, кому вменяться не должна. Объектом рефлексии становится не нецельность, не раздвоенность, а такая готовность, с которой, как с некоей данностью, нельзя ничего поделать. Соответственно, и предмет рефлексии готового существа выстраивается не по печоринской, а по принципиально иной модели, такой, где на фоне собственного, готового «Я» так или иначе присутствует готовое «Я» другого. Это коренным образом меняет структуру самого вопрошания, исходной точкой которого становится теперь, условно говоря, не печоринское «кто», а поприщенское «отчего» — не кто есть Я, а почему Я есть Я, а не Он: «Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?».

Попришин начал свои притязания на корону испанского короля с сомнения в том, что он есть тот, кто он есть, Голядкин со своими матримониальными устремлениями продвинулся дальше и дошел до сомнения в собственном своем существовании. Тайное

желание не быть самим собой, доводящее готовое существо до самоотрицания, становится необходимым и достаточным условием для возникновения его двойника, который, материализуясь, отвечает на действия оригинала зеркально-симметричным образом: пока тот нацеливается занять место другого, его двойник захватывает его собственное. Победоносная агрессия со стороны безобразной копии и становится возможной потому, что оригинал не хочет идентифицировать себя в качестве оригинала. Или можно сказать иначе: копия только потому и может захватить место оригинала, что оригинал восстает против своей оригинальности.

В «Записках из подполья» логика самоотрицания достигает своего окончательного предела. Их «автор», яростно ненавидя собственную готовность, делает ее, как говорит Бахтин, главным объектом своей всеразъедающей рефлексии. Она же растворяет все возможные твердые черты его облика настолько, что лишает его их вовсе: «у него уже и нет этих черт, нет твердых определений, о нем нечего сказать, он фигурирует не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты».

* * *

В «Проблемах поэтики Достоевского» Бахтин оттеняет своеобразие героя «Записок из подполья» путем его сравнения с готовым героем эпохи классицизма. «Только у классицистов, только у Расина можно еще найти столь глубокое и полное совпадение формы героя с формой человека, доминанты построения образа с доминантой характера... Герой Расина — весь бытие, устойчивое и твердое, как пластическое изваяние. Герой Достоевского — весь самосознание. Герой Расина — неподвижная и конечная субстанция, герой Достоевского — бесконечная функция. Герой Расина равен себе самому, герой Достоевского ни в один миг не совпадает с самим собою».

Что стоит за таким ни в один миг несовпадением с самим собой у героя Достоевского? Очевидно, что такое самому себе неравенство, каким оно является у персонажа «Записок...», какого-то особого пошиба, во всяком случае — принципиально не такого, каким наделен «неконсеквентный» себе герой печоринского типа.

Как это ни парадоксально, но у Достоевского «подпольный» герой ни в один миг не совпадает с самим собою именно потому, что и он тоже, как и его классицистический предшественник, изначально и безнадежно готов,

правда, в другом — не классицистическом — смысле.

Его неравенство самому себе зиждется не на печоринско-бельтовской раздвоенности, а на никогда не прекращающейся балансировке между тем «Я», которое ему дано готовым, и тем другим «Я», которое ему не дано, но в которое ему во что бы то ни стало надо «переделаться». Не зря Достоевский использует именно это слово. Сделаться кем-то для подпольного человека означает переделаться в кого-то: «чувствуешь, что до последней стены дошел... что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться...».

Если «неконсеквентный» себе самому герой печоринско-бельтовского склада страдает от невозможности стать другим (от невозможности измениться таким образом, чтобы стать самотождественным и цельным), то тот, кто пребывает в состоянии готовности, переживает по совсем иному поводу: он страдает не от невозможности стать другим (готовое не способно к имманентному развитию по определению), а от невозможности стать другим существом. Если первый хочет измениться для того, чтобы найти себя и свое место в жизни, то второй, готовый, хочет совсем другого — не измениться, а переделаться и, переделавшись, занять место высокопоставленного другого. При этом, однако, ни для одного, ни для другого задача оказывается невыполнимой.

Сближаются эти разнополярные типы — неготовый и готовый — и еще в одном чрезвычайно важном пункте: оба они обнаруживают свою несостоятельность в качестве деятелей, и так или иначе оба ее демонстрируют на фоне Героя-деятеля. Тень фигуры Героя так или иначе всегда маячит за спиной маленького человека, который на ее фоне смотрится не просто маленьким, а сниженно-пародийной копией большого. Это есть уже в «Шинели», где в ее подтексте, как давно отмечено, очевидно прослеживается параллель между переписыванием Акакия Акакиевича и героическим-деятельным служением библейским букве и слову писцов-монахов. И уж в открытой совсем форме это отталкивание от фигуры Героя представляется в «Записках...», где их создатель осмысливает себя в такой системе координат, где «либо герой, либо грязь, средыны не было».

Все эти обстоятельства наводят на мысль, что, как казалось, у кардинально полярных литературных типов — неготового и гото-

вого — был общий предок — Герой-деятель. Неизбежная, с точки зрения истории литературы, деградация большого эпического Героя шла, по всей видимости, разными путями: один путь привел к его расщеплению (к образованию печоринско-бельтовского типа), второй — к его редукции, в результате которой некогда большой Герой превратился в маленького готового человека. И при внимательном взгляде связывающие их родовые пятнышки становятся заметными. Одно из них, к примеру, — несоразмерная малой величине амбиция, которой в полной мере наделены готовые персонажи Достоевского. Между прочим, определенным способом она напоминает о себе и в «Шинели». В ее неожиданном финале, где призрак маленького Акакия Акакиевича ведет себя как большой, всемогущий и страшный герой, наверное, и может восприматься не в качестве фантастического преувеличения, а в качестве свидетельства (хотя и посмертного) о принадлежности бедного чиновника к героической родословной.

Исключительность — еще один реликтовый след родственной связи маленького человека с большим Героем. И хотя у маленького человека она выглядит как минус-исключительность (как перевернутая исключительность), тем не менее значение свое сохраняет. Как и его большому собрату, маленькому человеку суждено проживать свой век вне всяких связей и отношений.

* * *

Тому, кому отказано и в том, чтобы меняться, и в том, чтобы быть деятелем, остается означать свое существование либо в плоскости письма (как Башмачкину, Попришину или Девушкину), либо в области мечты, воображения, литературности, книжности — в том семиотическом пространстве, которое располагается поверх действительной жизни и никак с ней не соприкасается.

Фигуру Мечтателя у Достоевского и нужно рассматривать как одну из редакций его «готового» персонажа. Тому, кому не дано быть деятелем, ничего, по словам героя «Записок...», не остается, как мечтать о том, как он что-то сделает, когда будет делать. Мечта для готового существа — единственное место, где он может переделываться, как хочет и сколько хочет, и сразу, в готовом виде, все получать. «Мечтал я ужасно... я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем... Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что

я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой (какой именно — я никогда не знал, но, главное, — совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке...».

Мечтатель — фигура исключительная. Однако такая исключительность — отнюдь не полнокровная исключительность индивидуальности, а то, что делает его для всех актуально живущих чужим, ненужным, неинтересным и незаметным и потому фатально одиноким. Как и положено исключительной фигуре, мечтатель у Достоевского противостоит толпе. Но это противостояние вопреки традиции Достоевским подается с минусовым знаком. В отличие от отвлеченного от жизни мечтателя толпа живет подлинной, действительной, жизнью. Пустынное однообразие мечтательского фантазийного существования («пугливая фантазия, раба тени, идеи», «уныла и до пошлости однообразна») противопоставляется ярко-пестрому разнообразию жизни толпы. И если собственно романтический мечтатель стремился во что бы то ни стало себя от толпы отгородить, то мечтатель Достоевского в конечном счете нацеливается на другое — на то, чтобы как-то вписаться в толпу и найти в ней себе место. Однако сделать он это, как правило, оказывается не в состоянии: его существование сместилось на периферию жизненного пространства, откуда он не способен выбраться.

Но если силы мечтателю не хватает, то прекраснотушия в нем предостаточно. Мечтатель мечтает о счастье всего человечества, но сам своего счастья никогда обрести не может. Главное событие «мечтательного» сюжета — фиаско, которое герой-мечтатель терпит в отношениях с героиней, и осмысливается оно как фатальная для него невозможность обрести реальное, действительное бытие и свою собственную историю. У мечтателя, как об этом говорится в «Белых ночах», нет истории, и нет ее потому, что нет у него такой включенности в жизнь, которая предполагает движение, развитие, изменение, сопротивление материальной среде. Тому, кому отказано и в том, чтобы меняться, и в том, чтобы быть деятелем, остается означать свое существование в области мечты, воображения, литературности, книжности (как Мечтателю («Белые ночи»), Ордынову («Хозяйка»), Васе Шумкову («Слабое сердце»), — в том семиотическом

пространстве, которое располагается поверх действительной жизни и никак с ней не соприкасается.

«Записки из подполья...» принято считать не просто переходным, а переломным произведением в творчестве Достоевского. Р. Г. Назиров написал об этом так: «Повестью „Записки из подполья“ писатель в известном смысле рассчитался со своим собственным прошлым. Подпольный человек — это „перевернутый“ тип романтика-мечтателя, цинически оплевывающего свои собственные романтические идеалы. Поэтому он сам в конце своей исповеди называет себя “антигероем”». По всей видимости, это не совсем точно. Кризис мечтателя подан Достоевским как состояние ломки, такой ломки, которую может испытывать нечто такое готовое, с которым нельзя ничего сделать другого, кроме как положить под мощный пресс и раздавить. (Не зря, говоря о состоянии своего персонажа, Достоевский характеризует его словом «раздавленный».) Готовый герой «Записок...» корежится от испытываемого им давление жизни, и уже не в состоянии укрыться от этого давления в подполье книжной мечтательности. С ним произошло то, чего не происходило ни с одним готовым персонажем — его поняли, и были готовы к нему привязаться. Ему предоставилось то, чего не предоставлялось ни герою времени, ни готовому существу, — шанс укорениться в «живой жизни» и обрести судьбу. Но он так и не смог им воспользоваться.

* * *

Раскольников — и тот, кто замыкает галерею *готовых* персонажей у Достоевского, и тот, кто открывает в его творчестве новый тип героя-идеолога. Он вписывается в разряд готовых, потому что наделен всеми присущими им признаками, хотя и видоизмененными. Его «Я» всегда ему дано в аспекте Другого. Как и положено книжно-мечтательному типу, Раскольников соизмеряет свое «Я» с легендарно-героическим «ОН». К нему вполне можно было бы применить то, что в «Неточке Незвановой» говорится о Ефимове: «он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil. Как будто

Цезарем можно сделаться так, вдруг, за один миг. Его жажда — слава». Для него, как и для персонажа «Записок...», — «либо герой, либо грязь, середины не было»: он или Наполеон, или *тварь дрожащая*, третьего не дано. Вопрос: «Отчего Я есть Я, а не Он?» — стоит и перед Раскольниковым, хотя и в несколько иной редакции: «Кто есть Я: Он или они?». Вся суть раскольниковской теории в идее изначальной уготованности: одним уготовано быть *тварями дрожащими*, другим — Магометами и Наполеонами.

Но есть и то, что принципиально отличает Раскольникова от его «готовых» предшественников. В отличие от них, не имевших ни привязки к действительной жизни, ни привязанности, Раскольников обладает всем этим с самого начала: у него, в отличие от Акакия Акакиевича Башмачина, изначально есть те, кому он дорог и кем любим. И это обладание придает его готовности иной смысл. Готовое в этом ином смысле есть то, что дано изначально, то, что дано от Бога. Принципиальное отличие Мечтателя от Идеолога состоит даже не в том, что идеолог, в отличие мечтателя, способен совершить деяние и перейти из семиотического плана в бытийный, оно состоит в том, что идеолог (в отличие от Мечтателя, который изначально всегда один) всегда изначально не один. (Ср. раскольниковское: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого!»). Мечта, ткущая свою легкую паутину, замещает Мечтателю *живую жизнь*, идея же заставляет Идеолога разорвать с ней корневые (а не паутинные) связи, она режет по живому. Идея как «новое слово» (переключки с Евангелием здесь очевидны) противопоставит живому Божьему Слову.

Раскольников не зря так поименован Достоевским. Расколоться может только то, что было цельным, — то, что было готовым. Печорин, к примеру, не мог расколоться: он, обнаружив в себе другого, мог только раздвоиться. Раскольников, будучи изначально готовым, но вознамерясь изменить своей готовности с тем, чтобы стать Другим (отдельным и обособленным, выше всяких человеческих связей и привязанностей Героем), может только расколоться.

